



# *ИЗНАНКА И ЛИЦО*

---

*(СБОРНИК)*

*Жану Греньє*

## ПРЕДИСЛОВИЕ\*

Эссеистика, объединенная в этом томе, писалась в 1935–1936 годах (мне тогда было двадцать два года) и была опубликована мизерным тиражом в Алжире год спустя. Это издание давно уже стало библиографической редкостью, и я упорно отказывался от переиздания «Изнанки и лица».

В моем упрямстве не было никакой тайны. Я ни на йоту не отказываюсь от того, что запечатлено в этих текстах, но их форма всегда казалась мне неуклюжей. Предрассудки, связанные с искусством, которые я мимовольно взращивал в себе (к этому я еще вернусь), долго мешали мне решиться на переиздание. Но, быть может, виной тому было тщеславие, внушившее мне, что все мои другие книги безупречны? Нужно ли говорить, что дело было не в этом? Просто я более чувствителен к промахам «Изнанки и лица», чем к известным мне недостаткам прочих моих книг. Но тогда необходимо при-

---

© Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян.

\* К изданию 1958 года.

знать, что моя первая книга затрагивает и частично выявляет предмет, наиболее близкий моему сердцу. Покончив с вопросом о художественной ценности этой небольшой книги, я могу сознаться, что для меня очень важна такая ее ценность, как ценность свидетельства. Я говорю сугубо о себе, так как именно для меня она о многом свидетельствует и именно от меня требует верности, трудность и глубина которой ведома мне одному.

Попытаюсь объясниться.

Брис Парен не впервые утверждает, что эта маленькая книга содержит лучшее из написанного мною. Парен ошибается. Но я на этом не настаиваю, зная о его доброжелательности, я понимаю его категоричность, свойственную людям искусства, и нетерпимость к тем, кто имеет дерзость предпочитать то, чем он был, тому, чем он стал. Брис Парен ошибается потому, что в двадцать два года, если ты не гений, то лишь начинаешь постигать азы писательства. Но я понимаю, что Парен, этот убежденный враг искусства и философ сострадания, имеет в виду. Он имеет в виду — и тут он прав, — что в этих неуклюжих страницах больше доподлинной любви, чем во всех последующих книгах.

Каждый художник хранит в глубине души особый источник, который питает в течение всей его жизни то, чем он является, и то, о чем он говорит. Когда источник иссякает, мало-помалу видишь, что творчество засыхает и растрескивается. Эти бесплодные территории искусства больше не

животворит невидимый поток. И когда этот истончившийся, как волос, источник становится скудным и безводным, художнику, покрытому ошметками жнивья, остается молчать или болтать в гостиных, что одно и то же. Что до меня, то я знаю: мой источник — в «Изнанке и лице», в этом мире бедности и света, где я так долго жил и воспоминания о котором оберегают меня от двух противоположных опасностей, угрожающих каждому художнику, — злобы и самопоенности.

С самого начала я никогда не ощущал бедность как несчастье: свет рассыпал на ней свои несметные сокровища. Даже мои мятежи были освещены им. Они были (полагаю, что могу утверждать это без тени лукавства) мятежами ради всех, ради того, чтобы жизнь всех возвысилась до яркого света. Едва ли мое сердце было от природы расположено к такому виду любви, но мне помогли обстоятельства. Чтобы исправить прирожденное равнодушие, меня поместили как раз посередине меж бедностью и солнцем. Бедность не давала мне верить, что под солнцем и в истории все обстоит наилучшим образом; солнце научило меня, что история — это еще не все. Изменить жизнь — да, но не мир, который был для меня священен. Сознаюсь, я начал свой непростой путь почти в неведении, ступив на натянутую нить, по которой с трудом продвигаюсь вперед, отнюдь не уверенный, что достигну цели. Короче говоря, я стал художником, если правда то, что нет искусства без отказа и гармонии.

Так или иначе, но живительное тепло, царившее над моим детством, избавило меня от всякой злобы. Я пребывал в нужде, но одновременно и в каком-то восторге. Я чувствовал в себе безграничные силы: нужно было только найти для них применение. Силам этим препятствовала вовсе не бедность: в Африке море и солнце даются даром. Препятствие было скорее в предрассудках или в собственной глупости. У меня были все возможности развить свою «кастильскую гордыню», которая причинила мне немало вреда, которую с полным основанием высмеивает мой друг и учитель Жан Гренье и от которой я безуспешно пытался избавиться, пока не понял, что существует некая предопределенность характеров. Лучше было принять собственную гордыню и заставить ее служить себе, чем отдаться, как говорит Шамфор, принципам более сильным, чем характер. Но, положа руку на сердце, я могу засвидетельствовать, что среди моих многочисленных слабостей никогда не наличествовал самый распространенный человеческий недостаток, я имею в виду зависть, сушущую язву всех обществ и доктрин.

Я не сам воспитал в себе этот счастливый иммунитет. Я обязан им моим близким, которые, нуждаясь почти во всем, не завидовали почти ничему. Только благодаря молчаливости, сдержанности, врожденной неброской гордости эти люди, даже не умевшие читать, дали мне тогда самые возвышенные уроки, сохранившиеся навсегда. К тому же я был настолько поглощен чувствами, что не мечтал

о чем-то другом. Даже теперь, когда я наблюдаю в Париже жизнь очень богатых людей, они вызывают у меня глухое сострадание. В мире много несправедливости, но есть одна, о которой никогда не говорят: это несправедливость климата. Я долго пользовался плодами такой несправедливости, сам того не зная. Я уже слышу филиппики наших ревностных филантропов, если только они меня читают. Я-де хочу представить рабочих богатыми, а буржуа бедными, чтобы и дальше сохранять счастливое рабство одних и могущество других. Нет, это не так. Наоборот, когда бедность сопрягается с той жизнью без неба и надежды, которую я, возмужав, обнаружил в ужасных предместьях наших городов, тогда последняя и самая возмутительная несправедливость достигает пика: нужно сделать все, чтобы эти люди избежали двойного унижения нищетой и уродством. Родившись бедным, в рабочем квартале, я, однако, не ведал, что такое настоящее несчастье, пока не узнал ужаса наших промозглых пригородов. Даже крайняя нищета арабов не может с этим сравниться из-за различия небес над головой. Познав хотя бы раз промышленные предместья, чувствуешь себя навек оскверненным и ответственным за их существование.

То, что я сказал, сушая правда. Иногда я встречаю людей, которые живут в невообразимом богатстве. Однако я не могу себе представить, что такому богатству можно завидовать. Однажды, много лет назад, я целую неделю жил, наслаждаясь всеми

благами мира: мы спали под открытым небом, на пляже, я питался фруктами и по полдня купался — один на весь берег. В это время я познал истину, которая всегда побуждала меня воспринимать признаки комфорта и вообще обустройства с иронией, нетерпением, а порой и с яростью. Хоть теперь я живу, не заботясь о завтрашнем дне, то есть как человек привилегированный, я не умею чем-либо владеть. Я не могу сохранить ничего из того, что имею и что мне было предоставлено без всяких усилий с моей стороны. И мне кажется, что причина тому — не расточительность, а скорее особый вид бережливости: я жаден до свободы, которая исчезает из-за избытка благ. Самая большая из роскошей всегда совпадала для меня с некой утратой. Я люблю голые стены дома арабов или испанцев. Номер в гостинице — вот где я предпочитаю жить и работать и где легко мог бы умереть. Я никогда не мог предаться тому, что называют внутренней домашней жизнью, которая так часто является противоположностью истинной внутренней жизни; счастье, именуемое мещанским, вызывает у меня скуку и отвращение. Этим моим свойством, впрочем, не стоит гордиться; оно немало способствовало подпитке моих дурных качеств. Я ничему не завидую, и это мое право, но я не всегда представляю себе зависть других, а это лишает меня воображения, то есть доброжелательства. Правда, я создал для личного пользования лозунг: «Надо применять свои принципы в большом, в малом достаточно мило-

сердия». Увы! Лозунги создают, чтобы залатать про-  
рехи в собственном характере. А мое милосердие  
скорее зовется безразличием. И его результаты, как  
нетрудно догадаться, менее благотворны.

Но я хочу всего лишь подчеркнуть, что бедность  
не обязательно предполагает зависть. Даже позже,  
когда тяжелая болезнь временно лишила меня жиз-  
ненных сил, которые все во мне преображали, не-  
смотря на невидимые немощи и новые слабости,  
которые я в себе обнаруживал, даже тогда я по-  
знал лишь страх и отчаяние, но только не горечь.  
Эта болезнь, вне всяких сомнений, добавила дру-  
гие, более тяжкие недуги к тем, что уже гнездились  
во мне. Но в конечном счете она способствовала  
свободе сердца, этой легкой отстраненности от че-  
ловеческих страстей, которая всегда предохраняла  
меня от злобы. С тех пор, как я живу в Париже, я  
знаю, что это королевская привилегия. Но я всегда  
наслаждался ею без оглядок и угрызений совести,  
во всяком случае, доселе она озаряла мою жизнь.  
К примеру, как художник я начинал в состоянии  
восторга, то есть в каком-то смысле в земном раю.  
(Известно, что сейчас во Франции есть обычай де-  
бютировать в литературе и даже завершать лите-  
ратурную карьеру, выбирая какого-нибудь худож-  
ника мишенью насмешек.) К тому же мои личные  
чувства никогда не были «против». Люди, которых  
я любил, всегда были лучше и значительнее меня.  
Бедность, которую я пережил, научила меня не  
злобе, но, наоборот, некоторой верности и немому

упорству. Если мне случалось об этом забывать, то в том повинны только я и только мои недостатки — отнюдь не мир, в котором я родился.

Воспоминание об этих годах также не давало мне быть довольным результатами моего труда. Здесь я хочу рассказать с такой простотой, на какую только способен, о том, о чем писатели обычно умалчивают. Я не стану говорить об удовлетворении, которое, по-видимому, получаешь от каждой удавшейся книги или страницы. Я не уверен, что так уж много художников такое удовлетворение испытывают. Что до меня, то не думаю, чтобы когда-либо я получал удовольствие, перечитывая законченную страницу. Могу даже признаться — и тут меня можно поймать на слове, — что успех некоторых моих книг меня всегда удивлял. К этому, безусловно, привыкаешь, и это довольно мерзко. Однако даже сегодня я ощущаю себя подмастерьем рядом с писателями-современниками, за которыми я признаю их истинные заслуги, и первым из них я назову того, кому двадцать лет назад посвятил эти эссе\*. Писатель, естественно, имеет свои радости, ради которых он живет и которые способны его щедро одарить. Но что касается меня, то я испытываю их в миг появления замысла, в момент, когда определяется сюжет, когда перед внезапно прояснившимся внутренним взором вырисовываются сочленения твоей задумки, в те сладостные минуты, когда во-

---

\* Жан Гренье.

ображение окончательно сливается с разумом. Эти мгновения проходят так же неожиданно, как и рождаются. Остается исполнение замысла, то есть долгий нелегкий труд.

С другой стороны, у художника есть радости тщеславия. Писательское ремесло — особенно во французском обществе — часто превращается в ремесло тщеславия. Я говорю об этом, однако, без презрения, да и навряд ли с сожалением. Здесь я похож на других; кто может счесть себя свободным от этой глупой слабости? В конце концов, в обществе, обреченном на зависть и издевку, всегда наступает день, когда наши писатели, осыпанные насмешками, дорого платят за эти жалкие радости. Но за двадцать лет литературной жизни я имел очень мало подобных радостей от профессии, и с течением времени их становилось все меньше.

Разве не воспоминание об истинах, смутно угаданных в «Изнанке и лице», всегда мешало мне чувствовать себя комфортно в публичном воплощении моего ремесла, разве не оно вынуждало меня столько всего отвергать, что лишило меня многих друзей? Игнорируя похвалы или знаки почитания, даешь повод славословящему думать, что ты относишься к нему с пренебрежением, тогда как на самом деле ты сомневаешься только в себе самом. Если бы я проявил ту смесь суровости и любезности, которая встречается в литературном мире, даже если бы я преувеличил свою кичливость, как многие другие, я заполучил бы куда больше симпа-

тии, так как я наконец принял бы участие в игре. Но что делать — эта игра меня не развлекает! Честолюбие Рюбампре и Жюльена Сореля часто приводит меня в замешательство своей неприспособленностью и наивностью. Честолюбие Ницше, Толстого или Мелвилла меня волнует хотя бы потому, что оно закончилось их поражением. В глубине души я чувствую себя униженным только перед самыми жалкими судьбами или самыми великими проявлениями духа. Между ними находится современное общество, способное вызывать лишь смех.

Иногда на театральных премьерах, которые являются единственным местом, где я встречаю то, что заносчиво называется «светским Парижем», мне кажется, что зал вот-вот исчезнет, что этот призрачный мир не существует вовсе. Мне представляются куда более реальными другие — великие персонажи, вопиющие на подмостках. Но чтобы не удрать, нужно вспомнить, что каждый из этих зрителей тоже имеет в перспективе свидание с самим собой, что он об этом знает и, несомненно, вскорости на него отправится. И сразу возникает новое братство: одиночество объединяет тех, кого разлучает общество. Но зная все это, как угождать сему миру, как домогаться его смешных привилегий, поздравлять всяких авторов со всякими книгами, подчеркнута благодарить благосклонного критика, как пытаться соблазнить противника и особенно с каким лицом принимать комплименты и то восхищение, каковое французское общество — по крайней мере

в присутствии автора (ибо стоит ему уйти, как начнется такое!..), — смакует, как перно. Я ничего тут не понимаю, это факт. Может быть, здесь присутствует много той злой гордыни, власть и устойчивость которой во мне самом мне доподлинно известна. Но если бы только это, если бы пыжилось только одно мое тщеславие, мне кажется, что тогда я хотя бы поверхностно радовался похвалам вместо того, чтобы видеть в них непрерывно повторяющуюся неловкость. Нет, я чувствую, что тщеславие, которым я обладаю вкупе с людьми моего положения, особенно остро реагирует на кое-какую критику, которая содержит весомую часть правды. Перед наплывом комплиментов отнюдь не гордость придает мне тот ленивый и неблагодарный вид, который я хорошо за собой знаю, но (одновременно с глубоким безразличием, существующим во мне наподобие недуга характера) особое, возникающее в тот момент чувство: «Это не то...» Нет, это не то, и потому порой столь трудно поддерживать свою репутацию, что испытываешь некое злорадство, делая все, чтобы ее потерять. И наоборот, по прошествии стольких лет, перечитывая ради этого переиздания «Изнанку и лицо», я инстинктивно чувствую, когда перелистываю некоторые страницы, что, невзирая на их несовершенство, это именно то: эта старая женщина, молчаливая мать, эта бедность, этот свет над оливковыми деревьями Италии, эта любовь, одинокая и полная людей, — все, что в моих собственных глазах свидетельствует о правде.